

---

---

# ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ

---

---

УДК 39:069

## Государственный музей этнографии — свой путь между идеологией и наукой

**ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ**

Российский этнографический музей (Санкт-Петербург)

Доктор исторических наук, научный сотрудник главной категории отдела этнографии народов Кавказа,  
Средней Азии и Казахстана  
e-mail: dmitriev\_home@mail.ru

В статье рассматриваются основные принципы деятельности Российского этнографического музея в период от начала 1930-х до конца 1980-х гг. Основными датами этого периода являются 1934, когда музей получил самостоятельность под названием Государственный музей этнографии, и 1948, когда он стал единственным ведущим этнографическим музеем Советского Союза. Выработка принципов работы музея была затруднена скрытым конфликтом между государственной идеологией модернизации общества и требованиями бережного отношения к этническим традициям, лежащим в основе этнографической науки. В этих условиях в музее создавалась самостоятельная отрасль науки, подготавливавшая его к роли основного хранилища этнографической информации по культуре народов России и сопредельных стран.

*Ключевые слова: музей, этнография, государственная идеология, этнографический факт, теория и практика музейного дела.*

UDK 39:069

## State Museum of Ethnography: Steering an Independent Course Between Ideology and Knowledge

**VLADIMIR A. DMITRIYEV, D.Sc. (History)**

Top-grade Researcher, Department of the Caucasus, Central Asia and Kazakhstan,  
Russian Museum of Ethnography, St. Petersburg, Russia  
e-mail: dmitriev\_home@mail.ru

The article considers the principal policies employed by the Russian Museum of Ethnography in the period of the early 1930s — late 1980s. The key dates of the period were the year 1934, when an independent status as State Ethnographic Museum was granted, and 1948, when it became the Soviet Union's only major ethnographic depository. Evolving respective guidelines for the Museum was a complicated task because of the covert conflict between the state ideology of social progress and the need to uphold veneration for ethnic traditions, which are pivotal to ethnography. Under the circumstances, the Museum developed its own academic system, which prepared it for the role of the main repository of ethnographic information on the culture of the peoples of Russia and its neighboring countries.

*Key words: museum, ethnography, political ideology, an ethnographic fact, theory and practice of museum work.*

Советская гуманитарная наука, частью которой была музеология, в том числе и этнографическая, наследовала дореволюционным традициям, но, в большей степени, обрела свои особенности при становлении политического строя СССР. Для России XX век, в основном, связывается с конкретным историческим периодом советского времени, в течение которого определился ряд общественных институтов, сформированных и действовавших под жестким государственным и идеологическим контролем.

Российский этнографический музей (РЭМ) в советский период оставался в своеобразной форме национальным музеем, следуя государственному подходу к этническому/национальному фактору в жизни страны. Также в советский период состоялась специализация музея в рамках этнографической науки как результат эмпирических поисков, проходивших между двумя полюсами. Одним таким полюсом были требования государственной идеологии, догматически трактовавшей общественную функцию этничности. Другим — нормы науки, предлагавшие амальгаму из установок идеологии и собственных трактовок объективной реальности. В целом они сложились на рубеже 1920—1930 гг., к чему по времени привязывается создание в 1934 г. самостоятельного Государственного музея этнографии вместо Этнографического отдела Русского музея (с 1948 г. — Государственного музея этнографии народов СССР, в постсоветский период — Российского этнографического музея).

Основную причину изменения административного статуса музея следует видеть в смене модуса государственной национальной политики с преобразующего на охранительский и в установлении жесткого идеологического контроля над образовательной, в том числе просветительской деятельностью в стране.

В историографии советской этнографической науки отмечается ее активное развитие в 1920-х гг. В Ленинграде сохранялась триада этнографических институтов (Музей антропологии и этнографии, Этнографический отдел Русского Географического общества, Этнографический отдел Русского музея). С 1925 г. в Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур Запада и Востока функционировала секция «Живой старины». В 1920 г. был основан Петроградский (с 1928 г. Ленинградский) Институт живых восточных языков. В Москве возобновилась в 1921 г. деятельность Этнографического отдела общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, в 1924 на базе Дашковского музея

и сельскохозяйственной выставки 1923 г. был создан Музей народоведения (позднее Музей народов СССР). С 1919 г. в этнографическом направлении действовал Музей центрально-промышленной области, с 1923 г. работал Антропологический институт при МГУ. При Академии наук существовала Комиссия по изучению племенного состава России. В 1920-х гг. были открыты Яфетический институт (1921), Славянская комиссия (1922), секция этнологии при Институте истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (1925), отдел изучения искусств национальностей СССР в Государственной академии художественных наук, отделение по этнологии ГАИМК, этнографическое отделение Историко-лингвистического института, северное отделение рабфака — Института народов Севера ЦИК СССР. В результате к 1927 г. в стране действовало более полутора тысяч научных обществ и музеев с этнографической тематикой<sup>1</sup>. В Ленинградском и Московском университетах было опробовано множество форм преподавания этнографического знания в связи с естественнонаучными, природоведческими, языковедческими, историческими дисциплинами<sup>2</sup>.

В этнографических музеях была достигнута высшая форма полевой работы и получения объективного знания — комплексные, как по составу участников, так и по изучаемым предметным областям, экспедиции. Такие экспедиции, с кооперацией музеев с другими учреждениями, можно рассматривать как форму целостного этнографического познания, позднее ведомственно раздробленного на академическую и отраслевую науку. 1920 гг. предстают временем расцвета объективизма в российской этнографии и относительно свободного поиска форм ее организации.

Со второй половины 1920-х гг. организация науки в государстве приобретает более строгие принципы, что стало началом ее бюрократизации. В 1925 г. была учреждена Академия наук СССР, изначально подчиненная Совнаркому СССР; относительная независимость ученых, входивших в ее состав, была подавлена в ходе чистки 1929 г.<sup>3</sup> В 1934 г. Академию наук перевели в Москву. В 1933 г. на базе Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого был организован Институт антропологии и этнографии Академии наук СССР (в 1935 г. переименован в Институт этнографии АН СССР), чем была определена основная форма организации этнографической науки. Одним из последствий этого решения было неизбежное

в дальнейшем смещение музейной этнографической науки во второстепенное положение.

Проявлением более жесткой структуры высшего гуманитарного образования стало создание с 1 сентября 1934 г. исторических факультетов Московского и Ленинградского университетов, бывшее выполнением постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», опубликованного 16 мая 1934 г. Реформа проходила в сжатые сроки и принесла кардинальные изменения<sup>4</sup>. При этом в Московском и Ленинградском университетах с закрытием в 1930—1931 гг. этнологических факультетов резко купируется этнографическое образование. Только позднее, и уже в новом формате, воссоздаются кафедры этнографии: в МГУ на историческом факультете в 1939 г, в ЛГУ на филологическом в 1938 г. (кафедра этнографии в 1944 г. переведена на восточный, в 1949 — на исторический факультет, где действовала до 1952 г.; вновь создана в 1968 г.).

Таким образом, вместо прежней университетской и музейной этнографии, что вполне соответствовало духу мирового подхода к организации этнологического знания, создавалась новая форма науки, направленная сугубо на научно-исследовательскую деятельность, лишённую прикладных функций.

В конце 1920-х гг. этнографическая наука была уже готова реагировать на изменение общественно-политической обстановки в стране. Большинство исследователей старшего поколения стремились овладеть марксистской методологией. В 1929 г. в Центральном музее народоведения был организован Марксистский методологический семинар; подобные нововведения, в большинстве своем кружкового характера, были и в ряде других учреждений. В Ленинграде в ЭОРМ готовилась реконструкция экспозиций, появились новые по направленности формы экспозиционной работы: антирелигиозная выставка «Сельскохозяйственные культы восточных славян» и т. н. «Щиты пятилетки» с диаграммами и таблицами, отведенными пропаганде первого пятилетнего плана. В 1927 г. была создана т. н. «ячейка» — группа, объединявшая экскурсоводов ЭОРМ и МАЭ<sup>5</sup>. Значительные шаги по реконструкции музея были предприняты в 1932 г.: менялся кадровый состав (на смену 14 старым сотрудникам пришли 14 новых, но 9 из них оставались одновременно сотрудниками АН, ГАИМК и др. научных учреждений), проводились внутренние идеологические кампании, направленные на критику методов науки прежних лет; прошла

борьба с «руденковщиной», готовилась борьба с «золотаревщиной»<sup>6</sup>.

Примером стремления найти свою роль в соединении позитивистской этнографии и марксистского метода может служить пропущенная экономическим детерминизмом концепция А. А. Миллера возникновения полиэтничности на Северном Кавказе вследствие эколого-производственных причин<sup>7</sup>. Как часть представления этой концепции в ЭОРМ в 1927 г. ученым была построена экспозиция «Горное земледелие» с использованием полевого осетинского материала. Но подобные инициативы от науки не вызвали особого интереса со стороны властей, подготовивших сценарий более резкой смены научных парадигм и их носителей.

Начало 1930-х гг. было воистину переломным этапом в жизни страны и ЭОРМ—РЭМ. В государственном строительстве в СССР был усилен контроль над научными исследованиями и музейным делом. После судебных процессов 1928—1931 гг. над «учеными-вредителями» началось фронтальное наступление на «буржуазных специалистов», занятых в промышленности, науке, системе высшего образования. Фактически государственным указом этнография была классифицирована как вспомогательная отрасль исторической науки, что лишало ее собственного предмета изучения<sup>8</sup>. Крупные ученые выступали с лозунгами, содержащими требования перестройки науки. В январе 1930 г. на секции Общества историков-марксистов от представителя старой школы этнографов В. Г. Богораза добились призыва вести «внутреннюю борьбу с грузом этнографических сведений, которые есть у каждого этнографа за плечами»<sup>9</sup>. В 1931 г. Н. М. Маторин в установочной статье, опубликованной в журнале «Советская этнография», диктовал: «Рано или поздно и “полевая этнография”, <...> отдающая сильным духом старомодного народничества, должна уступить свои позиции <...> всюду побеждающему, действительному марксизму»<sup>10</sup>. На Всероссийском археолого-этнографическом совещании 1932 г. было подчеркнуто: «Построение этнографии как самостоятельной науки с особым предметом и методом изучения, противостоящей или равноправной истории, противоречит марксистско-ленинскому учению о диалектике исторического процесса»<sup>11</sup>.

На этом фоне наблюдались и попытки сохранить музеи как реально действенные научные учреждения, придав им соответствующий статус. Одной из таких попыток, закончившихся неудачно, был проект слияния этногра-

фических музеев Ленинграда в этнологический кабинет<sup>12</sup>.

Музеи властями расценивались не столько как исследовательские центры, сколько как учреждения пропаганды идеологии<sup>13</sup>, становящейся господствующей<sup>14</sup>. Комплексные учреждения типа национального музея объявлялись подлежащими реконструкции, полностью уничтожавшей их первоначальный смысл<sup>15</sup>.

Преобразование концепции национального музея состоялось вместе с отрицанием благоустроенного музея капиталистического Запада, собственной специфики процесса музейной работы (названной рутинностью), отрицанием музея как храма искусств<sup>16</sup>. Одновременно это был процесс форсированного отказа от универсальных музеев в пользу специализированных.

Первым был изменен московский бывший «императорский» музей. В 1920 г. Румянцевский музей был разделен на библиотеку (Все-союзная публичная им. В.И. Ленина), Музей западной живописи, собрания которого неоднократно перемещались, и этнографический отдел, который был реорганизован в Музей народоведения. Предметы русского искусства были переданы в Третьяковскую галерею, экспонаты отдела древностей — в Государственный Исторический музей. Музей народоведения был создан из двух отделов: этнопарка и этногалереи. Этногалерея в 1927 г. состояла из экспозиций: «Народы Европы» и «Народы Поволжья» (в Нескучном дворце), «Народы Сибири», «Народы Средней Азии», «Народы Дагестана», «Народы Закавказья» (в Мамонтовской даче), выставки искусства российских народов (в помещении музея Всероссийской Академии художественных наук); проводились также выставки по конфессиональной тематике<sup>17</sup>.

Предполагалось, что в 1930-х гг. Музей народоведения будет реконструирован как музей социалистического строительства с двумя разделами: первым — с 11 частями по тематике «Царская Россия — тюрьма народов» и заключением, отведенном Конституции 1936 г.; и вторым — по количеству союзных республик СССР. После 1945 г. выставочная работа Музея народоведения сосредоточилась на показе региональных комплексов материальной культуры, начиная с русской. 15 июля 1948 г. фонды Музея народоведения были в большей части переданы ГМЭ<sup>18</sup>. К этому следует добавить, что значительная часть сотрудников музея еще в начале 1930-х гг. подверглась репрессиям<sup>19</sup>. Имеется много еще неясных моментов, связанных с угасанием и ликвидацией этого музея<sup>20</sup>.

В Ленинграде бывший «императорский» Русский музей с его полностью изменившимся кадровым составом (из старого научного коллектива были оставлены только три сотрудника) в 1934 г. был разделен на два специализированных музея: художественный Государственный Русский музей (ГРМ) и этнографический Государственный музей этнографии (ГМЭ). В момент образования ГМЭ его научными отделами были русский, украинский, белорусский, народов Средней Азии и Казахстана, Сибири, карело-финский, исторический; секциями: народов Поволжья, Северного Кавказа, грузинской и еврейской<sup>21</sup>. Создание фактически нового музея трактовалось как разрыв со старыми установками, ограничивавшими деятельность профильного учреждения, как расширение возможности заниматься исследованиями по этнографической тематике<sup>22</sup>.

Этнографический музей после реконструкции в короткие сроки превращается в фабрику по строительству экспозиций. В 1931 г. построена экспозиция «Украинское село до и после Октября», в 1932 — «Белоруссия и БССР», «Народы Саяно-Алтая в прошлом и настоящем», в 1935 — «Узбеки XIX—XX вв.», «Карелия и Кольский полуостров», в 1936 — «Русское население черноземных областей», в 1937—1938 гг. — «Эвенки в прошлом и настоящем», «Чукчи XIX—XX вв.», «Туркмены XIX—XX вв.», «История России в XVIII в.», в 1939 г. — «Народы Северного Кавказа в прошлом и настоящем», «Евреи в царской России и в СССР». При этом не требовалось показа этнокультуры, снимались вопросы типологии и весомости этнографических источников. Главной теперь была задача показать в свете большого советского модернизационного скачка 1928—1932 гг. два варианта развития культуры того или иного народа по принципу «было»/«стало», дать относительно негативную характеристику прошлого и позитивную современного. Такое сравнение было непростым, учитывая более яркий характер традиционной культуры прошлого по сравнению с образцами предметов эпохи социалистического переустройства, но этот факт *a priori* не принимался во внимание. Задача достижения эмоционального доминирования обезэтниченной современной культуры вкупе с необходимостью упрощения объяснения на экспозициях в духе ликбеза, конечно, приводили к использованию большого числа вневещевой экспонатуры. В результате какое-то время существовали т. н. бумажные экспозиции, что отнюдь не было признаком только этнографических музеев<sup>23</sup>.

Степень несоответствия государственных установок и задач этнографического музея была настолько велика, что музей временно был закрыт на перестройку экспозиций летом 1937 г.<sup>24</sup>, но не исключено, что именно в это время в верхах было принято решение оставить его единственным этнографическим музеем страны. Так было дано разрешение на подготовку в ГМЭ выставки с оценкой его дореволюционного периода<sup>25</sup>. Однако, в документах, предназначенных для внешнего пользования, с этого времени факт основания музея в начале XX в. преподносился как дань имперскому шовинизму<sup>26</sup>.

И все же музей довольно быстро вернулся к практике строительства вещевых экспозиций. Небезынтересно отметить, что спустя четверть века оценку «первых экспозиций советского периода, построенных на вещевом материале», получили именно выставки (т. е. в данном случае экспозиционные проекты пробного или кратковременного действия), посвященные показу народного декоративно-прикладного искусства, в данном случае, чувашей и марийцев (1939), грузин (1940), Русского Севера и др.<sup>27</sup>. В конце 1930-х гг. была усилена сторона документирования деятельности: появились тематико-экспозиционные планы строящихся экспозиций, которые обязательно утверждались Ученым Советом музея и музейным отделом Наркомпроса РСФСР в Москве. Со временем работа по составлению таких планов была жестко формализована: задания на подготовку плана выдавались дирекцией в письменном виде, определялись размеры этикеток и тип бумаги для них, был выстроен порядок подготовки обстановочных сцен. При этом требовалось отказаться от статичности манекенов, что выглядело некоторой компенсацией общей строгости требований, предъявляемым к построению экспозиции. Эти нормы излагались в подготовленном в 1950 г. документе внутреннего пользования, жестко регулирующем все моменты экспозиционной работы<sup>28</sup>. Усилилась роль вышестоящих учреждений, от которых поступало много указаний, в том числе по тем темам, которые музей мог бы формулировать самостоятельно<sup>29</sup>.

Можно говорить и об изменениях в экспедиционно-собираательской работе в 1930-х гг. Сократилось или просто было сведено «на нет» участие музеев в комплексных экспедициях, причем разрыв с прежней практикой был настолько значителен, что позднее создание таких экспедиций уже рассматривалось как часть истории исключительно археологической науки. Определилось узкоцелевое назначение

экспедиций музея — сбор этнографического (культурно-бытового, ограниченного этническими дефинициями) материала. Исследовательская полевая группа сократилась до нескольких или даже до одного человека. Увеличился объем сбора дополнительного материала. Обязательно требовалось налаживать связи с местными властными структурами (партийными и советскими органами на местах). Сбор материала в поле был в целом подчинен экспозиционному строительству<sup>30</sup>.

При этом после некоторого затишья в полевой работе вторая половина и особенно конец 1930-х гг. стали временем большого числа поездок в различные районы страны<sup>31</sup>. Возможно, именно в это время сложилось особое эмоционально-положительное отношение к полевой работе, унаследованное следующими поколениями сотрудников РЭМ.

То же происходило и в целом в советской этнографической науке: теоретические работы сворачивались; по определению Д.К. Зеленина, к концу 1930-х гг. достижения советской этнографии были «не столько теоретические, сколько практические»<sup>32</sup>. Рассматриваемые как эпохальные научно-теоретические открытия советских ученых 1930-х гг. — открытие М.О. Косвенном патронимии, а А.М. Золотаревым дуально-родовой организации<sup>33</sup> — были большими успехами для социологии архаического общества, но для этнографического музея имели частное значение.

Однако все же надо отметить, что в конце 1930-х гг. тезис об отсутствии у этнографии собственного предмета изучения уже стало возможным критиковать<sup>34</sup>, было даже озвучено требование не подменять в музее этнографию «соцстроительством вообще»<sup>35</sup>.

Изменился характер научной связи сотрудников ГМЭ (РЭМ) со сферой исследовательской работы. Если на переходе от 1910-х к 1920-м гг. сотрудников подбирали по уже имеющемуся научному заданию, то в середине — конце 1930-х гг. «молодые работники, составлявшие в тот период основную часть научного состава музея, будучи поставлены перед решением сложных задач, росли на работе <...> Разработка тематико-экспозиционных планов и осуществление экспозиций, всегда являвшиеся серьезной научной работой, в этих условиях были зачастую первой публикацией самостоятельных исследований сотрудников музея»<sup>36</sup>. В конце 1930-х гг. начало формироваться собственное этнографическое музееведение РЭМ, подъем которого в течение советского периода был осуществлен такими

выдающимися деятелями музея, как Т.А. Крюкова, А.С. Морозова, Е.Н. Студенецкая.

Опыт работы РЭМ был оценен руководством и немедленно переведен в плоскость специализированного отраслевого высшего образования. В 1938 г. при политико-просветительном институте им. Н.К. Крупской в Ленинграде был создан музейно-краеведческий факультет, к работе на кафедре музейного дела (зав. кафедрой был директор ГМЭ Е.А. Мильштейн) были привлечены сотрудники ГМЭ А.Я. Дуйсбург, Г.А. Никитин, Е.Н. Студенецкая<sup>37</sup>.

Примечательно, что в 1938—1939 гг. музей и его сотрудники неоднократно отмечались государственными грамотами, но одновременно вышестоящими инстанциями был поставлен вопрос о профиле музея. Можно предположить, что и сотрудники музея чувствовали в этом необходимость: с 26.01 по 7.03 1939 прошло семь совещаний при директоре ГМЭ<sup>38</sup>, на которых были подняты проблемы и общей теории науки, и цели практической деятельности музея.

Выявился разброс мнений об объекте дискуссии, который трактовался от трансформированного объекта этнографической науки (задача науки — поставить вопрос о преимуществе одной формации над другой) до гипертрофированного предмета этнографического музея (целью музейной работы является показать историю народов СССР). В итоге дискуссии, однако, произошло сведение всех проблем науки до обсуждения профиля музея. Для самого музея намечалась двоякость задач [говоря современным языком, двойственность предмета этнографического музееведения] как в изучении национальных особенностей социалистической культуры и быта, так и пережитков, «тормозящих социалистическое строительство». С позиций нашего времени задачу изучения пережитков в тех условиях можно считать героическим отстаиванием предмета этнографии, смысла изучения традиционной культуры по сравнению с осуждением или отрицанием существования этих пережитков. Определенным поворотом к собственным методам музейной работы было указание на необходимость отойти от краеведческого подхода, как это делалось при показе БССР в экспозиции «Белоруссия и БССР», что фактически было равноценно требованию выделения этнографического материала из социально-культурного/национального. Одновременно отмечалось значение классового подхода, говорилось о необходимости отражения современности, указывалось на значение непрофильного материала и т. п.<sup>39</sup>. Даже нашими современни-

ками, читающими эти материалы, ощущается высокое напряжение интеллектуальной работы этнографов музея, хотя общее заключение по дискуссии свелось лишь к указанию на принцип размещения экспозиций, формулируемый исходя из некоего этнографического подхода. Каков был этот подход видно из резолюции, где было сказано: «Основным принципом размещения экспозиций должен быть принцип этнографический, базирующийся на этнографической близости одного народа к другому. Но эта близость не есть что-то извечно данное <...> мы должны учитывать <...>, рассматривая вопрос с этнографической точки зрения»<sup>40</sup>. В дальнейшем в работе музея предполагалось сочетание конкретного и общего подходов, поэтому намечалось строительство экспозиций по культуре народов СССР, также был поставлен вопрос о создании в ГМЭ исторического отдела, отвечавшего за разработку проблем истории XVIII в.<sup>41</sup>, что расширяло временные рамки традиционно-этнографического подхода.

В следующие годы возрастало самостоятельное значение музея, но при этом его все более ограничивало отсутствие твердых теоретических основ перехода от базовой (академической) этнографии к музейно-отраслевой. Ощущение определенной самостоятельности и собственного долга перед объектом науки позволили сотрудникам совершить поистине героический поступок, сохраняя экспонаты по культуре народов, подвергшихся репрессиям и депортации в 1944 г.: крымским татарам, чеченцам и др.

На 1940 г. коллекции ГМЭ оценивались в 280 тыс. предметов собственно собрания и около 250 тыс. предметов были переданы из Исторического отдела музея<sup>42</sup>.

В 1948 г. в фонд музея были влиты коллекции бывшего Музея народоведения, что сделало сам ГМЭ исключительно институтом этнографического музееведения, но на несколько лет парализовало исследовательскую работу в нем. Изменилось название музея на Государственный музей этнографии народов СССР с неопределенным до сих пор лексическим элементом «этнография народов», который гораздо точнее, чем другие формулировки, указывает на предмет и общей, и, особо, отраслевой этнографической науки.

После перерыва, вызванного Великой Отечественной войной и восстановлением здания музея, ГМЭ, по сути, приступил к поиску в своей практической деятельности ответов на те вопросы, которые оставались животрепещущими со времени дискуссии 1939 г., хотя

формально обсуждения такого уровня не было еще долгие годы. Определенным исключением была серия выступлений сотрудников ГМЭ на VII Международном конгрессе археологических и этнографических наук, когда потребовалось провести обсуждение опыта ГМЭ на уровне позитивных методологических позиций. При этом нельзя не упомянуть время от времени возникающую демонстрацию особого значения собирательской работы, как это было, например, на заседаниях Ученого совета музея в 1948 г.<sup>43</sup> Также имели большое значение совещания 1956 и 1961 гг., посвященные стратегии экспозиционной работы.

В 1950 г. в письме в редакцию газеты «Советская культура» группа наиболее активных сотрудников музея довольно резко отметила признаки кризиса в состоянии музейного дела в Ленинграде<sup>44</sup>. Говорилось о фактическом прекращении научно-исследовательской работы в музеях, об отсутствии в академической науке тех разработок, которые могли бы способствовать музейной деятельности, об отсутствии научной концепции исследования современных процессов в народной культуре. Сама суть научной работы в музее авторами письма трактовалась как работа по подготовке музейных экспозиций. Поэтому подчеркивалось, что научная работа состоит из научного исследования этнографии народа или группы народов путем экспедиционной работы, а также изучения вещевых памятников и письменных источников. Собранные научные данные заключаются в коллекционные описи музейных предметов. Конечным результатом всей работы являются экспозиционные планы, которые служат основой для экспозиций музея.

Отчитываясь за работу ГМЭ в первые послевоенные годы, директор Государственного музея этнографии Е. А. Мильштейн так же понимал суть научной работы, когда писал о главном достижении 1948 г.: «Вся работа музея была подчинена разработке намечающихся в 1949 г. экспозиций и изучению коллекций музея»<sup>45</sup>.

Деятельность музея в это время была политизирована, как и вся обстановка в стране. В 1945 г. была открыта первая послевоенная выставка «Айны — жители Сахалина и Курильских островов», что было прямым откликом на возвращение Южного Сахалина и Курил российской стороне после победы над Японией. В 1945 г. была подготовлена выставка «Образцы народного искусства славян», в 1946 — выставка «Одежда и народное искусство славян». Обе выставки были ответом на освобождение Южной и Восточной Европы от фашизма, но

также и отражением внимания советского руководства к делам на Балканском полуострове и к идее славянского содружества (до наступления кризиса в отношениях с Югославией и обострения внутривосточной борьбы в странах социализма в Восточной Европе).

Позднее тема славянского единства в РЭМ не поднималась вплоть до 1990-х гг. Названные выставки по славянской этнографии строились вне музея, здание которого восстанавливалось после разрушений, принесенных войной, но в 1948 г. уже в залах музея была открыта масштабная выставка «Народное искусство и национальная одежда славянских народов». Эта выставка была пробным камнем для строительства экспозиции «Этнография славянских народов», которую готовили к открытию музея после его восстановления. Подготовка экспозиции сопровождалась острой критикой со стороны НИИ музееведения и ИЭ АН СССР, а также специалистов Ленинграда, Киева и Минска (об участии этнографов Москвы в дискуссии сведений нет), содержавшей требования об отказе от показа русского народа по локальным районам в пользу целостного его представления<sup>46</sup>. Критически оценивался метод показа современности, что на несколько десятилетий вперед станет общим местом обсуждения экспозиционной деятельности музея. Важно отметить, что реакция на данную критику оказалась продуктивной в плане формулирования весьма результативного способа показа современности в составе выработываемого направления этнографического музееведения — показа изделий народного искусства и результатов работы народных мастеров. Возможно, впервые экспедиционные поездки сотрудников ГМЭ были особо направлены на отражение творчества т. н. «народных мастеров»<sup>47</sup>. Одновременно ставились ограничения в изучении художественной культуры в этнографическом музее, когда говорилось о необходимости избавиться от «уклонения от этнографического профиля музея в сторону чистого искусствознания»<sup>48</sup>. С одной стороны, это было проявлением стремления формирующегося этнографического музееведения выдержать самостоятельную линию развития, с другой — желание окончательно отойти от общественного мнения, иногда по-прежнему считавшего Государственный музей этнографии и Русский музей одним музеем.

Уместно отметить, что так своеобразно возрождалась установка 1920-х гг. и более раннего времени (периода вхождения этнографического музея в комплекс Национального музея) на двудеятельную цель показа бытового своеобразия

зия совместно с отражением этнического искусства, но теперь только народному искусству отводилась политизированная и более узкая ниша отражения современности.

Может показаться, что музей сохранил еще один завет, провозглашенный при изначальном его формировании: выделить, в первую очередь, русскую этнографию, следующим планом — этнографию славянскую (в экспозиции 1949 г. три зала были отведены русским, по одному — белорусам и украинцам, центральный зал — общеславянской проблематике в одежде и искусстве<sup>49</sup>) и затем дать широким планом представление этнографического быта других народов России/СССР (другие экспозиции ГМЭ после 1939 г.). Однако сопоставление тематики экспозиций музея предвоенного периода, когда третье направление явно преобладало, и экспозиций по славянской тематике 1945—1949 гг., показывает, что возврат к первоначальной русской и потом славянской тематике не был следствием имманентных музею установок, а скорее указывал на следование музеем политическому курсу, предложенному стране послевоенным сталинским руководством. Отметим, что последнему не были чужды некоторые отсылки к риторике императорской России, и присутствие царской символики в восстановленных интерьерах аванзала музея могло сохраниться только в результате разрешительных санкций партийных инстанций. Несомненной отсылкой такого рода был и горельеф «Народы России», расположенный на стенах Мраморного зала и восстановленный к 1949 г.<sup>50</sup> Не менее интересно, что в 1970—1980 гг., когда зал использовался для наиболее помпезных выставочных проектов, горельеф не только не привлекался к их оформлению, но и бывал разными способами прикрит. Элементом экспозиции музея горельеф становится лишь в 1990-х гг., когда в музее разрабатывался проект «Императорские коллекции в составе музея» (второе название «Цари — народам, народы царям»).

И в более поздние годы интересный материал для оценки установок, которыми руководствовался ГМЭ/РЭМ, давали приуроченные к определенным датам статьи в журнале «Советская этнография» (позднее — «Этнографическое обозрение»), подготовленные руководителями музея. Так, в уже упомянутой статье директора ГМЭ А.Е. Мильштейна весьма своеобразно подается научная деятельность музея в конце 1940-х гг. После уже цитированных слов о подчинении ее экспозиционному строительству перечисляются темы индивидуальных научно-исследовательских работ в отношении

3:1 в пользу русско-славянской этнографии: А.Я. Дуйсбург (заведующая отделом восточных славян) разработала тему «Элементы общности в одежде славянских народов», Т.С. Вязовская — «Изменения в русской народной одежде, связанные с развитием капитализма в деревне», Л.В. Тазикина — «Современное золотое шитье у русских», Е.Н. Студенецкая — «Современное кабардинское жилище».

Можно отметить и другие признаки политизированности работы РЭМ в данный период. Так, было предпринято строительство новых послевоенных экспозиций (1949—1952 гг.) для отражения в первую очередь сложившегося на вторую половину 1940-х гг. политико-административного устройства РСФСР. Были построены четыре «русские» экспозиции: «Осетины» — 1949 г. и «Кабардинцы» — 1950 г., «Народы Поволжья: чуваша и марийцы» — 1950 г.; «Народы Севера: ненцы и эвенки» — 1951 г., при одной «союзной» «Туркмены» — 1952 г. Показ только двух народов Северного Кавказа был вызван запретом на упоминание о депортированных балкарцах, карачаевцах, ингушах и чеченцах. Вряд ли повышенное внимание к этнографии народов РСФСР было случайным, хотя сегодня до нас дошли только отголоски обсуждения в руководстве страны в конце 1940-х гг. вопроса об особом статусе Российской Федерации. Для относительной характеристики этого времени, когда готовились и осуществлялись данные проекты, можно только вспомнить о том, что известное и формально далекое от музейной практики «ленинградское дело» (1949—1950) имело место еще и потому, что в предшествовавший ему период было разрешено активно разрабатывать вопрос об особой роли РСФСР в политической системе СССР.

На рубеже 1940—1950-х гг. было принято решение отвести левое крыло музея для экспозиций народов РСФСР, а правое — других союзных республик<sup>51</sup>. Таким образом, отдавалась дань понятиям национальной политики — автономия и федерализация, но уже с той степенью вульгаризации, когда эти понятия стали утрачивать свое первоначальное содержание.

Основным приемом экспозиционного отражения культуры этноса стало завершение показа комплексов традиционной культуры разделом, представляющим культуру советского периода. Очевидно, что в обстановке строгого идеологического контроля, требовавшего от всех учреждений образования и культуры доказательств преимущества социалистического строя, таким образом достигалась



единственная возможность делать в массовом просвещении наглядным этнографический факт. Надуманность такого подхода, как и безжизненность предлагаемой концовки позднее стали очевидными. Однако следует отметить, что уже с первой половины 1950-х гг. стало намечаться единственно возможное решение проблемы показа культуры модернизированного общества: сохранять экспозиции по традиционной этнографии можно, только всячески усиливая функцию показа в музее экспозиций по современности.

Если говорить об общем состоянии этнографической науки в стране, то, с одной стороны, с 1950-х гг. развернулась разработка теории ее как материалистической гуманитарной дисциплины, о чем свидетельствует появление теорий хозяйственно-культурного типа и историко-этнографической области<sup>52</sup> — бесспорный вклад советской этнографии в мировую науку. В течение двадцатилетия была подготовлена теоретическая база для создания отечественной концепции этноса, в основном, изложенной в трудах Ю.В. Бромлея. С другой стороны, эти теоретические разработки и формировались в рамках теории исторического материализма и ограничивались ими. Для учреждений музейного профиля эти рамки были еще более тесными — требовалось отразить успехи национальной политики коммунистической партии в решении национального вопроса в стране в том виде, в каком он достался советскому государству от царской России. Для поисков предмета этнографического музееведения оставалось мало пространства, но сам факт существования большого, полиэтничного по составу коллекций музея, экспедиционная работа которого позволяла отслеживать результаты процессов этнокультурного развития в СССР, требовал от музея поисков собственного пути в этнографии и музейном деле.

Став с 1948 г. единственным и формально главным этнографическим музеем страны, Государственный музей этнографии народов СССР не всегда мог выстраивать собственные парадигмы на фоне внешнего идеологического контроля. В общетеоретическом плане партийно-государственные установки были противоречивы. С одной стороны, требовалось продемонстрировать преимущества социалистического строя, что весьма затруднительно, как сложно показывать на этнографическом материале результаты модернизации. С другой стороны, требовалось продемонстрировать заботу государства о расцвете народной культуры, что приводило к еще более проблемной задаче: привлекать наиболее яркие феномены этниче-

ской культуры, заведомо зная, что они принадлежат к периоду, выходящему за рамки хронологии поставленной задачи. Поэтому ГМЭ, с точки зрения партийной советской идеологии, должен был, несомненно, существовать, но его научная мысль не должна была углубляться в самоанализ.

Постепенно образовался консенсус, задавший основной целью отражение этносоциальных организмов народов Советского Союза с акцентом на использование этнографического материала. Неопределенность трактовки понятия «этнографический материал» породила безопасную и практически вечную форму самоанализа: проблему комплектования с упором на методику полевой собирательской работы и такую же вечную дискуссию о разграничении основного и научно-вспомогательного фондов этнографического музея. В том же аспекте, который представлял позиции ГМЭ (представленные экспозиционными установками и их разрешениями) в треугольнике: этнографическая теория — музей — общественное мнение, с рубежа 1940—1950-х гг. музей действовал, исходя из следующих установок исторического материализма:

— производство материальной основы жизни первично и обязательно для отражения в экспозициях (об этом в эпохальной записке А.С. Берковича о принципах экспозиционного строительства в ГМЭ, датируемой 1950 г., сказано с партийной страстностью), а явления быта следует показывать выборочно, семейного же быта — очень и очень ограниченно;

— структура этносоциального организма включает общность территории, экономики, языка, культуры, национального самосознания, проявляющегося в наличии самоназвания<sup>53</sup>, и, следовательно, эти признаки этноса должны быть отражены в категориях языка экспозиций музея;

— этносоциальные организмы разделяются на нации (русские и титульные народы союзных республик) и народности (народы РСФСР, кроме русских).

Дело даже не в продуктивности или контрпродуктивности данных парадигм. Как и все парадигмы, они прошли не только стадию плодотворности и общественного интереса к ним, но и стадию осознания несоответствия догмы и реалий, утраты к ним внимания общества. Эти парадигмы позволяли долгое время готовить серьезные и привлекательные экспозиционные проекты, но не были годными для этносоциальной прогностики.

Дело в том, что они давали почву как для выработки большого положительного эмпири-

ческого опыта, так и для замыкания в круге своих практических задач, что вело к ограничению интереса к методологическим вопросам общей этнографии/этнологии и слабой корреспонденции с академической наукой. Индивидуальная научная работа стала нормой для сотрудников. Сотрудники музея выбирали себе исследовательские темы, представлявшие перспективными, но, будучи привязанными к проблематике собственно музейной работы, эти темы не выглядели значительными, а зачастую и не были такими. Однако относить их все к категории «мелкотемья», как иногда делалось, было бы несправедливым. В то же время именно работа с музейным материалом и в музейном собрании способствовала утверждению в музее таких выдающихся знатоков материальной культуры народов СССР, как Е.Н. Студенецкая, Т.А. Крюкова, А.С. Морозова, Б.З. Гамбург.

Нельзя утверждать, что внешний идеологический контроль отрицал реализацию имманентных основ этнографического музееведения РЭМ. Другое дело, что внешний фактор осуществлял принцип селекции свойств, унаследованных от ЭОРМ в истории ГМЭ; с одной стороны, он инициировал разработку тем в соответствии с требованиями идеологической работы КПСС, а с другой — позволял вырабатывать собственные способы отражения этнической реальности. Так, очередная, приуроченная в данном случае к наступающему 30-тилетию ГМЭ, статья его директора М.В. Сазоновой, опубликованная в 1963 г., указывавшая на признаки завершения периода формирования института ГМЭ, позволяет увидеть синтез этих подходов. Интересно несколько изменить последовательность изложения и подчеркнуть в авторском изложении скрытую яркую самооценку музейного работника:

— «Проведена большая работа по упорядочиванию и систематизации фондов: ряд археологических, антропологических и этнографических непрофильного характера коллекций был передан в соответствующие музеи и хранилища. Получены в порядке обмена коллекции, соответствующие профилю...» [Произошел полный разрыв с палеоэтнологией и другими видами этнологического и культурно-антропологического знания, выделена собственная предметная платформа этнографического музееведения РЭМ. — *Здесь и далее в квадратных скобках приводится современная оценка цитируемых тезисов.*];

— «Наиболее полно в музее представлена культура славянских народов... «Опыта экспонирования такого крупного народа как русские вообще не было в практике музейного

дела...» [Демонстрируется координированность собственных целей музея с основными установками государственной политики.];

— «Большое место в деятельности музея занимает экспедиционно-собираТЕЛЬСКАЯ работа...» [Подчеркивается практический характер научной деятельности музея.];

— «В отличие от дореволюционного периода, когда собирались коллекции не только сотрудниками музея, но и частными лицами, сейчас собираТЕЛЬСКАЯ работа музея тесно связана с исследовательской работой музея...» [Существует представление о собственной концепции комплектования ГМЭ, демонстрируется отличие от концепций предшествующего времени.];

— «В результате напряженных творческих исканий и большой исследовательской работы музей отказался от т. н. типологических приемов экспозиций. Музей показывает быт и культуру народов нашей страны в процессе их исторического изменения в тесной связи с общим ходом мирового исторического процесса...» [Существует представление о собственной концепции экспозиций с использованием этнографического материала, указывается на ее соответствие канонам исторического материализма.];

— «Немногие музеи смогли бы представить в экспозиции историю культуры и быта народов своей страны с такой всесторонностью, наглядностью и полнотой, как ГМЭ отражает многообразие быта и богатство культуры русских, украинцев, белорусов, казахов, узбеков, грузин, азербайджанцев и многих других малых и больших народов нашей необъятной страны...» [Удалось добиться отражения признаков этносоциальной общности по полному их списку, соответствующему нации из теории исторического материализма.];

— «Собранные коллекции дают возможность полно и всесторонне охарактеризовать все этнографическое многообразие народов и этнических групп, различные стороны их жизни, особенности их быта и культуры, а также произошедшие за годы советской власти изменения в образе жизни, идеологии, культуре народов СССР...» [Определены цели и задачи ГМЭ.];

— «Основным экспозиционным приемом стал показ вещей в производственных или бытовых комплексах с аналитически построенным рядом экспонатов... Этнографические коллекции требуют большого числа научно-вспомогательного материала, служащего средством его разъяснения в гораздо большей степени, чем в других музеях...» [Формируется

теоретико-методологическая база этнографического музееведения ГМЭ.];

— «Осуществлен переход к обобщенному показу материала по современности...» [Определена собственная дихотомия традиционной этнографии и этнографии современности.].

К этому следует добавить, что в музее в 1960—1970-х гг. постепенно были ликвидированы разделы монографических экспозиций, посвященные современному периоду в жизни этносов. Также в ГМЭ появляются экспозиции сугубо современные («по современности»), включая полностью состоящие из материала, не являющегося этнографическим источником<sup>54</sup>.

Между серединой 1950-х и 1963 г. лежит важный промежуток времени, когда продолжалось строительство монографических экспозиций, ставших способом презентации этнографических источников, объединенных в экспозиции по традиционной этнографии: в 1952 — «Туркмены», в 1957—1960 — «Русские», в 1955 — «Украинцы»; в 1960 — «Казахи», в 1962 — «Грузины». Отметим, что по тому же принципу, но с более современным художественным оформлением позднее были реэкспонированы в 1980—2000-х гг. экспозиция «Русские», в 1972 — «Украинцы», «Белорусы», «Молдаване», в 1978 — «Грузины», были также построены экспозиции «Эстонцы», «Латыши», «Литовцы» (1972), «Азербайджанцы» (1977), «Армяне» (1978).

В 1956 г. был принят генеральный план работы ГМЭ, в 1961 г. на обширной музейной сессии прошла активная дискуссия по обсуждению направления его деятельности. Отражение культуры этноса на уровне его доиндустриального развития в первой редакции 1950-х — 1963-го г. и во второй в 1972—1978 гг., одобренное и не подвергаемое сомнению в процессе выработки парадигмы этнографического музееведения в 1956—1961 гг., стало целевой задачей ГМЭ. Принималась методология описания культуры этноса, особо не нуждающаяся в поисках этничности особой этнической специфики. Собственно так же формулировались в конце 1940-х — начале 1950-х гг. задачи советской этнографии, науки, изучающей «культурно-бытовые особенности различных народов мира в их историческом развитии», их происхождение, расселение и культурно-исторические взаимоотношения<sup>55</sup>, когда был оглашен тезис: «не существует никаких особых этносов, якобы сохраняющих свою этническую специфику<sup>56</sup>». И в академической науке в этот период работы теоретического порядка были отодвинуты на второй план,

труды описательного порядка преобладали над исследованиями теоретического плана<sup>57</sup>.

На этом фоне музей самостоятельно достиг стадии эмпирического обобщения фактов и сделал попытку одновременно перейти на иной уровень обобщения, что было обусловлено не только политической установкой на рассмотрение надэтнических образований государственного уровня (типа «советский народ»), но и попыткой говорить о метаэтнических общностях в этнографии, с одной стороны, и областях сохранения этнической специфики в культуре этноса, с другой стороны. И ранее, и сейчас данные достижения трактовались как работа над экспозиционными приемами в отражении современности. В 1980-е гг. понятие современности обсуждалось широко, в том числе и музейными сотрудниками. Методологическая недостаточность самого термина «современность» (современный = контемпоральный, т. е. синхронный времени фиксации факта) тщательно обходилась; при попытках более строгого определения понятия «современность» подразумевались более весомые характеристики, но также с не вполне четкими дефинициями: советский образ жизни, индустриально-городская культура и т.п.<sup>58</sup>. Тем не менее, термин «этнография современности» утвердился, как и второй член образовавшейся в результате дихотомии «этнография традиционной культуры», или, в качестве арготизма, «традиционная этнография».

Вошедшая в отчеты оценка «результатом работы музея над отражением этнографии современности стали экспозиции: “СССР — братский союз равноправных народов” (1964; 1972), “Современное народное искусство СССР” (1958—1960; 1966); — “Новое и традиционное в современном народном жилище и одежде” (1972), “Современные обряды и праздники народов СССР” (1988)» является неполной, как всякая простая констатация факта завершения какой-то работы. Сами же авторы, непосредственно создававшие концепции экспозиций по «этнографии современности», приступая к их разработке, полагали, что работают над явлением, «представляющим синтез культур отдельных народов»<sup>59</sup>. При этом остается открытым для дискуссии вопрос, восходили ли отражаемые категории к реалиям<sup>60</sup> или они оставались теми понятиями, которые возможно воспроизводить как вторичные (экспозиционные) модели, понимая при этом, что сами эти категории реальности еще не достигли.

Представляется, что названные экспозиции «взывали» к разным предметным (в смысле предмета науки) областям: политической мета-

общности / понятию идеологического единства («СССР — братский союз...»); метаобщности культуры жизнеобеспечения («Новое и традиционное...»); метаобщности праздничной культуры («Современные обряды и праздники...»); метаобщности, сохраняющей традиционность ценностно-знакового плана, оцениваемую через понятие художественности («Современное искусство...»).

Проекты, реализованные в экспозициях по современности, со временем утратили признаки инновационности, стали, что не совсем верно, восприниматься сугубо как попытки дать положительные оценки т. н. «советскому образу жизни». Они были закрыты с превращением явления «советский образ жизни» в пропагандистское ретропонятие. Остается сожалеть, что не изучается опыт подготовки этих экспозиций и работы с ними. При этом нельзя не отметить, что актуальность исследования т. н. «этнографии современности» в ГМЭ/РЭМ всегда признавалась, но в разных формах. В середине 1930-х гг. внимание к ней имело характер государственного заказа, травмировавшего основную деятельность музея. С конца 1930-х гг. отражение явлений современности, сохраняя характер идеологемы, включается в формулировки определений целей деятельности этнографического музея как конкретного учреждения и общественного института. Этот союз идеологической установки и имманентных задач этнографического музея был возможен, потому что:

— советская этнографическая наука, имевшая в период 1930—1960-х гг., как уже было отмечено, преимущественно, эмпирический характер, достигла особого совершенства в «полевой» своей отрасли, сближаясь с практической (конкретной) социологией, и пришла к тому, что обрела своим основным методом «метод непосредственного наблюдения»; на рубеже 1960—1980-х гг. лишь состоялось теоретическое обоснование значимости метода<sup>61</sup>;

— построенные на полевых материалах кабинетные исследования этнографов, в частности, и сотрудников ГМЭ отражали динамику отношений нового и традиционного как часть развития этнической традиции при признании прогрессивности инновации<sup>62</sup>;

— подготовка экспозиций по современности, не считая экспозиции по обрядности, пришлось на период ослабления политического диктата, время т. н. «оттепели».

В 1980-х гг. возникла еще одна форма компромисса между идеологическими установками государства и задачами этнографической науки, особо благоприятная для формирования этно-

графического музееведения. Была обозначена особая предметная зона науки о традиционной культуре — положительные этнические традиции, или положительный народный опыт. Тема получила большой отклик в этнографической науке. Для музея она оказалась фактически интегрирующей темой, объединяющей многие темы, над которыми работали и продолжают работать сотрудники.

На исходе XX в. стало ясно, что традиционная этническая культура действительно перешла в область эпифеномена истории, и в соответствии с признаками эпохи постмодернизма музеи этнографического профиля стали единственными зонами ее существования. РЭМ в силу данной ситуации и своего особого положения в стране находится на пути превращения из только субъекта этнографического музееведения в его объект, обладающий старыми и вновь приобретенными свойствами. Часть из них сложилась в период деятельности РЭМ.

Таковыми мы можем считать как собственное отношение к «этнографии современности», так и выработанный в целом курс на изучение этнических традиций как положительного наследия традиционной культуры, и отсюда повышение аксиологического статуса этнических традиций. Развивая монографический подход в изучении этнических общностей, музей подошел к необходимости показа групп этносов и суперэтнических объединений. Уже в 1980-х гг. появились первые экспозиции РЭМ, в которых представлялось региональное единство, что на первых порах определялось поставленной извне задачей показа народов автономных республик в составе РСФСР. Первым опытом была экспозиция «Народы Поволжья» (1977), где соединялись маленькие экспозиции: каждая по культуре этноса, входящего в регион Поволжья. Открытая в 1982 г. экспозиция «Народы Северного Кавказа» была подготовлена уже по собственному региональному принципу, когда не культура отдельного этноса получала место на экспозиции, а уже комплекс культуры, типичный для всего региона, представлялся на предметах этнической культуры тех народов Северного Кавказа, у которых данный вариант общерегиональной культуры имел наибольшее развитие.

Региональный подход был признан результативным в ходе обсуждения перспективных планов экспозиционной работы музея в 1990-х гг. Он был использован в сочетании с другими интеграционными подходами при строительстве экспозиций «Народы Северо-Запада» (2003), «Народы Средней Азии и Казахстана» (2009), «Народы Южного Кавказа»

(2012). Подготовка экспозиций показала, как успешно региональный подход может быть реализован через антропогеографическую методологию представления культуры группы этносов («Народы Северо-Запада»), концепцию хозяйственно-культурных типов (экспозиция «Народы Средней Азии», предлагающая видение региона через дихотомию оседло-земледельческого и кочевнического образов жизни), представление региона как системы этнополитических культурно-исторических сообществ («Народы Южного Кавказа»). Сходные задачи стоят и перед исследовательской группой, работающей над подготовкой экспозиции по этнографии славян восточной Европы, отражающей культуру не только восточнославянских этносов, белорусов и украинцев, но и исторически связанных с ними других народов.

Предполагается, что обращение к региональному подходу является одним из оптимальных средств смягчения установок этноцентризма при описании этнических реалий как во внутренней деятельности музея, так и особенно в диалоге с посетителями экспозиций музея.

В свое время, подводя итоги деятельности ГМЭ, Т. А. Крюкова и Е. Н. Студенецкая считали нужным при характеристике научно-исследовательской работы в области ее взаимодействия с академической этнографией указать только на совместное использование ГМЭ и МАЭ собирательских программ, что косвенно указывало на главенство собирательской работы в комплексе музейной деятельности. Можно полагать, что сейчас мы бы говорили о сущности научной деятельности РЭМ как комплекса методик формирования сокровищницы этнографических фактов (*музея этнографического факта*), понимая, что собирательская работа является наиболее заметной частью этого комплекса.

То, что ГМЭ в соответствующее время не проявил большого внимания к теоретическим дискуссиям, создавшим лицо позднесоветской (концепции этноса Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гумилева, С. А. Арутюнова — Н. Н. Чебоксарова, В. В. Пименова и др.) и постсоветской этнографии (дискуссии примордиалистов, конструктивистов, инструменталистов, ситуационистов и пр.), свидетельствуют не только о готовности его научной части, в основном, к эмпирическим исследованиям, но и о формировании собственной музейной области этнографического знания, пути ГМЭ к институту *этнографического факта*.

Этот путь был пройден под воздействием государственной идеологии, почти не заинтересованной в этнографическом факте. Государ-

ство определяло предпосылки возникновения музея, ставило ему задачи тогда, когда проявляло заинтересованность в существовании этнографического/квазинационального музея страны, и отступало в периоды идеологического забвения 1920-х или 1990—2000 гг., предоставляя этнографическому музею возможность самостоятельно играть роль национального музея. Однако, функции музея развивались в разные периоды его отношений с властью и ее идеологией, поэтому они могли реализоваться как синтез идеологического и описательного (объективистского) подходов и только так, как данный синтез мог сложиться в российских условиях в XX в.

В связи с этим полагаем, что нужно выразить свое отношение к имеющимся в научной публицистике оценкам деятельности РЭМ как института репрезентации этнографического факта. Все они явно преувеличивают зависимость музея от установок государства. В одном случае говорится о слишком большом расхождении между научными задачами музея и идеологическими установками властей, и данная проблема справедливо характеризуется как постоянная и существующая при любых взаимоотношениях науки и идеологии<sup>63</sup>. Однако переносить без комментария это противоречие на музейную почву — означает не замечать того, что как раз в число функций национального музея входит претворение отмеченного противоречия в результат, в синтез позиций сторон. В другом случае была предложена трактовка РЭМ как музея колониального типа<sup>64</sup>, что явно дискуссионно, т. к. подводит к мысли об организации собирательской работы музея на принципах, диктуемых только идеологией, что в истории РЭМ имело ограниченные масштабы.

В заключение можно отметить возможные перспективы дальнейшей деятельности РЭМ, вытекающие из наследия ЭОРМ и ГМЭ:

— исследование факта — развитие аксиологии эмпирического подхода в этнографическом музееведении, развитие специфической отрасли этнографического историкоисследования;

— пропаганда факта, проявляющаяся в активности временных выставок, особенно, выездных, что также позволяет расширить контингент потребителей этнографического факта;

— возможный возврат к палеоэтнографическим методикам, признание важности использования методик реконструкции, что может строиться на синтезе методик различного теоретико-методологического уровня.

Существование в поле взаимодействия объективистской науки и государственной идеологии было неизбежным для любого россий-

ского музея в XX в., тем более такого большого, как Российский этнографический музей. Было бы неверным отрицать в идеологическом воздействии наличие стимулов для развития музейного дела, как и предполагать, что основы музейной работы целиком соответствуют принципам принятых научных парадигм. Мы полагаем право за музеем, как своего рода частью общественного сознания, иметь опреде-

ленную самостоятельность в отношениях с другими его областями. В XX в. самостоятельность РЭМ в отношениях с идеологией определялась его позицией как Национального музея страны, в отношениях с этнографической наукой в целом, процессом разработки собственной субдисциплинарной роли формирования себя в роли гиперисточника — конденсатора этнографических фактов.

<sup>1</sup> Токарев С.А. Ранние этапы развития советской этнографической науки (1917 г.— середина 1930-х годов) // Труды Института этнографии АН СССР. — Т. 95. — М., 1971. — С. 111—120; Чистов К.В. Из истории советской этнографии 30—80 гг. XX века. К 50-летию Института этнографии АН СССР // Советская этнография. — 1983. — № 3. — С. 3—18; Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Советская этнографическая школа // Этнография и смежные дисциплины, этнографические субдисциплины, школы и направления, методы // Свод этнографических понятий и терминов. — М., 1988 — Вып. 2. — С. 115, 116.

<sup>2</sup> Обзорение преподавания этнологического факультета 1-го МГУ на 1925/26 ак. г. — М., 1926; От редакции // Этнограф-исследователь. — 1927. — № 1, август. — С. 2; Ленинградский университет за советские годы. 1917—1947 гг. — Л., 1948. — С. 267; История Ленинградского университета. Очерки. — Л., 1969. — С. 227, 274; Станюкович Т.В. Из истории этнографического образования // Труды Института этнографии АН СССР. Т. 95. — М., 1971. — С. 121—138; Марков Г.Е., Соловей Т.Д. Этнографическое образование в Московском государственном университете (к 50-летию кафедры этнографии исторического факультета МГУ) // Советская этнография. — 1990. — № 6. — С. 82, 83; Козьмин В.А. Из истории этнографического образования в Ленинградском/Санкт-Петербургском университете // Этнографическое обозрение. — 2009. — № 4. — С. 123—132.

<sup>3</sup> Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926—1932. — Л., 1982; Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. — М., 1995.

<sup>4</sup> Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. — М., 1998.

<sup>5</sup> Крюкова Т.А., Студенецкая Е.Н. Государственный музей этнографии народов СССР за 50 лет советской власти // Очерки истории музейного дела в СССР. — Вып. 7. — М., 1971. — С. 28, 29.

<sup>6</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 409. Л. 1—6.

<sup>7</sup> Дмитриев В.А., Иванова В.П. А.А. Миллер — археолог и этнограф-кавказовед // Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России. — СПб., 1992. — С. 35, 39.

<sup>8</sup> Совещание этнографов Ленинграда и Москвы // Этнография. — 1929. — № 2. — С. 118; Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928—1938 // Этнографическое обозрение. — 1993. — № 2. — С. 113—125.

<sup>9</sup> Совещание этнографов Москвы и Ленинграда. 05.04.1929 — 11.04.1929, стенограмма: Архив МАЭ РАН. Ф. К-1. Оп. 3. Д. 7; Абрамзон С.М. «Советская этнография» в начале 30-х годов (из воспоминаний этнографа) // Советская этнография. — 1976. — № 4. — С. 90—92; Соловей Т.Д. «Коренной перелом» в отечественной этнографии (дискуссия о предмете этнологической науки: конец 1920-х — начало 1930-х годов) // Этнографическое обозрение — 2001. — № 3. — С. 113, 115, 119; Бертран Ф. Наука без объекта. Советская этнография 1920—1930 гг. и вопросы этнической категоризации // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2003. — Т. 6. — № 3. — С. 98—113.

<sup>10</sup> Маторин Н.М. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. — 1931. — № 1—2. — С. 12.

<sup>11</sup> Резолюция Всероссийского археолого-этнографического совещания 7—11 мая 1932 г. по докладам С.Н. Быковского и Н.М. Маторина // Советская этнография. — 1932. — № 3. — С. 12.

<sup>12</sup> Хроника // Советская этнография. — 1931. — № 2. — С. 165; Решетов А.М. Трагедия личности: Николай Михайлович Маторин // Репрессированные этнографы. — Вып. 2. — С. 147—192; Бертран Ф. Наука без объекта. — С. 173.

<sup>13</sup> Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 28 августа 1928 г. «О музейном строительстве в РСФСР».

<sup>14</sup> Крупская Н. Поднять музейное дело на социалистическую высоту // Советский музей. — № 9—10. — С. 1, 2.

<sup>15</sup> Мацулевич Ж. Перестройка императорских музеев в народные научно-просветительные учреждения // Искусство. — 1968. — № 12. — С. 26, 27.

<sup>16</sup> Редакционная статья // Советский музей. — 1931. — № 1. — С. 5; Сергиевский Ю. Государственный музей изобразительных искусств // Советский музей. — 1932. — № 6. — С. 107—109.

<sup>17</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 177. Л. 5.

<sup>18</sup> Там же. Л. 6.

<sup>19</sup> Альмов С.С., Решетов А.М. Борис Алексеевич Куфтин: изломы жизненного пути // Репрессированные этнографы. — М., 2003. — С. 227—268.

<sup>20</sup> С Т.А. Жданко беседует В.А. Тишков // Этнографическое обозрение. — 1994. — № 1. — С. 118—133.

<sup>21</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 465. Л. 2, 3.

<sup>22</sup> Супинский А.К. Государственный этнографический музей // Советская этнография. — 1934. — № 3. — С. 105, 106.

- <sup>23</sup> Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи. — Л., 1978. — С. 200.
- <sup>24</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 652. Л. 3.
- <sup>25</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 603. Л. 3: План выставки «К 35-летию ГМЭ».
- <sup>26</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 643. Л. 1: Справка по истории организации ГМЭ и характеристика его состояния на 1938 г.
- <sup>27</sup> Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 89, 90.
- <sup>28</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 181. Л. 1—66: Бежкович А. С. Основные принципы построения экспозиций в этнографических музеях.
- <sup>29</sup> Например, всерьез публиковались такие указания, как: «В основе всякой экспозиции должна лежать научно-исследовательская работа», «без знания теории музейного дела, не овладев его техникой, нельзя строить музей»: О научно-исследовательской работе краеведческих музеев // Советский музей. — 1935. — № 1 — С. 4, 6; Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 41.
- <sup>30</sup> Потапов Л. П. Государственный музей этнографии // Советская этнография. — 1936. — № 2. — С. 126—129; Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 49; Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 566, Л. 31—35: Доклад о положении в этнографической науке с обзором экспозиционной деятельности ГМЭ.
- <sup>31</sup> Российский этнографический музей. 1902—2002. — СПб., 2002. — С. 43.
- <sup>32</sup> Зеленин Д. К. Народы Крайнего Севера СССР после Великой Октябрьской социалистической революции // Советская этнография. — 1938. — № 1. — С. 50; Вайнштейн С. И., Крюков М. В. Советская этнографическая школа. — С. 118.
- <sup>33</sup> Вайнштейн С. И., Крюков М. В. Советская этнографическая школа. — С. 118.
- <sup>34</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 652. Л. 1: Струве В. В. Тезисы к докладу «Советская этнография и ее перспективы».
- <sup>35</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 652. Л. 12: Струве В. В. Тезисы к докладу «Советская этнография и ее перспективы».
- <sup>36</sup> Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 49, 50.
- <sup>37</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 488; Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 53.
- <sup>38</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 716: Протоколы совещаний при директоре о профиле ГМЭ.
- <sup>39</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 428, 431, 460.
- <sup>40</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 460. Л. 8.
- <sup>41</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 651. Л. 52: Обсуждение плана экспозиции по народам Северного Кавказа.
- <sup>42</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 643. Л. 3.
- <sup>43</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 991.
- <sup>44</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 198. Л. 2—10: Герасимова В. И., Морозова А. С., Студенецкая Е. Н. Еще раз о музеях.
- <sup>45</sup> Мильштейн Е. А. Государственный музей этнографии народов СССР // Советская этнография. — 1950. — № 1. — С. 195—197.
- <sup>46</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 646, 672.
- <sup>47</sup> Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 62.
- <sup>48</sup> Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 964. Л. 10.
- <sup>49</sup> Потапов Л. П. Экспозиция по славянским народам в Государственном музее этнографии // Советская этнография. — 1948. — № 2. — С. 216, 217.
- <sup>50</sup> Романова Г. Н. Горельеф Мраморного зала РЭМ // Живая старина. — 1999. — № 3. — С. 43—45.
- <sup>51</sup> Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этнографии. — С. 64.
- <sup>52</sup> Левин М. Г. К проблеме исторического соотношения хозяйственно-культурных типов Северной Азии // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. — 1947. — № 2. — С. 84—86; Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // Советская этнография. — 1955. — № 4. — С. 3—17; Андрианов Б. В. Хозяйственно-культурные типы и исторический процесс // Советская этнография. — 1968. — № 2. — С. 21—34; Чеснов Я. В. О социально-экономических и природных условиях возникновения хозяйственно-культурных типов (в связи с работами М. Г. Левина) // Советская этнография. — 1970. — № 6. — С. 15—26; Вайнштейн С. И. Проблема формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии // Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых исследований 1970 г.: Тез. докл. — Тбилиси, 1971. — С. 47—50; Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования // Советская этнография. — 1972. — № 2. — С. 3—16.
- <sup>53</sup> См.: Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос // Сочинения. — Т. 2. — М., 1946. — С. 292—297.
- <sup>54</sup> Сазонова М. В. Государственный музей этнографии народов СССР // Советская этнография. — 1963. — № 2. — С. 19—30.
- <sup>55</sup> Толстов С. П. Этнография и современность // Советская этнография. — 1946. — № 1. — С. 3; Он же. Очерки общей этнографии. / Под ред. С. П. Толстов и др. — М., 1957. — Т. 1. — С. 7.
- <sup>56</sup> Токарев С. А., Чебоксаров Н. Н. Методология этногенетических исследований на материале этнографии в свете работ И. В. Сталина по вопросам языкознания // Советская этнография. — 1951. — № 1. — С. 12; Вайнштейн С. И., Крюков М. В. Советская этнографическая школа. — С. 120, 121.
- <sup>57</sup> Першиц А. И., Чебоксаров Н. Н. Полвека советской этнографии // Советская этнография. — 1967. — № 5. — С. 23; Вайнштейн С. И., Крюков М. В. Советская этнографическая школа. — С. 122.
- <sup>58</sup> Например, см.: Этнокультурные процессы. Традиции и современность. Сборник научных трудов РЭМ. — Л., 1991.
- <sup>59</sup> Гамбург Б. З., Морозова А. С., Студенецкая Е. Н. Проблема соотношения традиционной культуры и современности в экспозиции ГМЭ народов СССР. — М., 1964. — С. 6.
- <sup>60</sup> Баранов Д. А. Музей и презентация этнографической реальности // АБ\*60. Сборник статей к 60-летию А. К. Байбурина. — СПб., 2007. — С. 393.
- <sup>61</sup> Громов Г. Г. Методика этнографических исследований. — М., 1966; Вайнштейн С. И. Актуальные вопросы полевого исследования традиционно-бытовых культур народов СССР // Советская этнография. — 1985. — № 3. — С. 51—59; Шмелева М. Н. Полевая работа и изучение современности // Советская этнография. — 1985. — № 3. — С. 43—51.
- <sup>62</sup> Студенецкая Е. Н. Современное кабардинское жилище // Советская этнография. — 1948. — № 4. — С. 105—123.
- <sup>63</sup> Найт Н. Империя напоказ: Всероссийская этнографическая выставка 1867 г. // Новое литературное обозрение. — 2001 — № 51. — С. 111—131; Баранов Д. А. Музей и презентация. — С. 390.
- <sup>64</sup> Сиим А. Эволюция задач и проблемы этнографической экспозиции // Ad nomen. Памяти Николая Гиренко. — СПб., 2005. — С. 125, 126.